

ЕВА ЗИМИНА

A movie poster for the film 'The Frozen Dragon'. The background is a dark, stormy sea under a night sky with green aurora borealis. In the upper left, a large, illuminated castle sits on a rocky island. In the center, a merman with scales on his face and chest emerges from the water, looking at a woman. The woman, with long dark hair and a sword at her waist, looks back at him. Between them, a large, glowing oyster shell contains a small, round, light-colored object. The title is written in large, ornate, silver letters at the bottom.

ЖЕНА
по обету для
ледяного
ДРАКОНА

Ева Зимина

Жена по обету для ледяного дракона

<https://litres.ru/74181667>

SelfPub; 2026

Аннотация

Осенью на Косе торгуют всем, кроме моря, — море не торгуется. Марен, ныряльщица-жемчужница, слышит то, чего не слышит никто: звенит ли слово правдой или глохнет ложью. В штормовую ночь она вытаскивает из чёрной воды незнакомца и, спасая, произносит древний морской обет — а утром узнаёт, что повязала себя с владыкой Островов. С ледяным драконом, который семь лет не даёт обетов и медленно уходит в туман.

Двор считает её самозванкой. Жемчужина-обет, веками судившая Острова, ослепла и молчит. А мягкоголосый откупщик с материка уже подписал бумагу, по которой и острова, и сама Марен — всего лишь строки в его долговой книге.

Но Марен знает то, чего не знает никто. Жемчужину не сломали — её морят голодом. И если накормить её исполненными обетами, она заговорит. Брак по обету, который станет настоящим. Истинная пара, в которую не верят оба. И правда, которая либо звенит — либо нет.

Содержание

Глава 1. Море не торгуется	4
Глава 2. Слово на запястье	19
Глава 3. Хозяйка не по бумаге	33
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Ева Зимина

Жена по обету для ледяного дракона

Глава 1. Море не торгуется

Осенью на Косе торгуют всем, кроме моря. Море не торгуется.

Это первое, чему учат жемчужниц: у моря нет цены, есть только счёт. Счёт вдохов, счёт волн, счёт тех, кто ушёл под воду и кого вода вернула. Я умела считать с шести лет. В двадцать три я считала лучше всех на Селёдочной косе — и всё равно в тот день сбилась.

Потому что в тот день считали не волны. Считали людей.

Осенний расчёт ставили на пирсе, у конторы с вывеской «Верль и Ко» — свежая краска, ровные буквы, тонкие, как лезвие вскрышника. Стол вынесли на самый настил, чтобы вся Коса видела: бумага не прячется. Бумага у нас вообще ничего не боялась. Это мы боялись бумаги.

За столом сидел сам поверенный Йоаким Верль. Я видела его третий год и третий год не могла запомнить лицо — оно было гладкое, как обкатанное стекло, из тех, что море

выносит на берег уже ничьим. Зато руки его помнила каждая женщина Косы. Холёные, белые, в тонких перчатках, которые он снимал только для подписи. Руки человека, который ни разу не тянул сеть.

— Семья Круса, — сказал он мягко. Он всё говорил мягко. — Недоимка за три прилива. Сорок два серебром.

Я стояла в толпе между сушильнями, от меня пахло солью и водорослями, с косы капало — я вышла из воды час назад, две раковины за день, обе пустые. И я слышала, как цифра «сорок два» упала на настил.

Слово, если оно честное, звенит. Не для всех — для меня. Я с детства слышу вес сказанного, как другие слышат прибой. Настоящий обет звенит так, что затылку тепло. Пустое слово падает глухо, будто мокрый песок с лопаты.

«Сорок два серебром» упали, как песок. Глухо. Мёртво.

Долг Крусов был раздут — я слышала это так же ясно, как чаек над сушильнями. И так же ясно знала: скажи я это вслух, мне ответят одно. Покажи, жемчужница, где в бумаге фальшь. Бумага вот она. А твой слух — это твой слух, и суда ему нет.

Суд у островов был один — жемчужина-обет в гроте под Хаврхольмом. Три года как слепая. Три года как немая. Молчит — значит, решает бумага. А бумагу писал Верль.

— Платить нечем, — сказал старый Крус и снял шапку, будто на поминках. — Улов сам знаешь какой.

— Знаю, — согласился Верль, и в его голосе было столько

сочувствия, что хоть на хлеб мажь. — Потому контора не требует невозможного. Контора предлагает отработку.

Вот оно. Слово, которого ждала и боялась вся Коса. У нас им пугали детей вместо водяного: будешь нырять одна — заберут в отработку. Девять лет назад это слово забрало моего отца. Бумага обещала: два года на материковых промыслах, харч конторский, потом домой с чистым долгом. Отец поцеловал меня в макушку, мне было четырнадцать. Домой он не пришёл ни через два года, ни через девять. Море не отдало, сказали одни. Бумага не вернула, сказала тётка Унн, и это было точнее.

— Кого? — только и спросил Крус.

— Молодые руки ценятся выше. — Верль провёл пальцем по строке, не глядя. Он всегда знал строки наизусть, наизусть и вперёд. — Оле Крус, двадцать шесть лет. Два года промысла — и долг чист. Контора даже добавит подъёмные.

Толпа выдохнула разом, как выдыхает вода из тюленьей отдушины. А потом закричала Гелла.

Гелла — моя подруга, кружевница, лучшие руки на Косе. Она плела свадебное кружево четвёртый месяц. Свадьбу с Оле назначили на зимний прилив, по-старому, у грота, — пусть жемчужина слепа, говорила Гелла, но пусть хоть стены слышат.

— Он жених! — Гелла продиралась через толпу, кружево — она так и выбежала с коклюшками — волочилось за ней по мокрому настилу. — У нас сговор! Оглашённый! Стёкла

вам в глотку, у нас сговор!

— Сговор, — Верль наклонил голову с уважением, как кланяются чужому богу. — Островной обычай. Прекрасный, древний. Но контора живёт по имперскому праву, дитя моё. По имперскому праву сговор — не родство. Вот стань он мужем до расчёта... — он развёл белыми руками, и перчатки сочувственно блеснули. — Но брак до выплаты недоимки за-прещён откупным уложением. Пункт девятый.

Он сам его и вписал, пункт девятый. Год назад. Я помнила, как глухо упали тогда слова «для защиты семей от опрометчивых обязательств».

Оле обнял Геллу поверх кружева. Он был белее своих парусов. Он ничего не говорил — а что тут скажешь, бумаге-то. Стражник конторы, наёмный, с материка, уже держал наготове дорожный лист.

— Два года, — сказал Оле в макушку Гелле, как мой отец мне. — Что такое два года.

И я слышала, как эти слова упали. Он сам в них не верил. Они даже не долетели до настила.

Я стояла и молчала, и ненавидела себя за это молчание, а больше молчания — свой слух. Слышать, как люди пустеют, и не мочь ничего доказать — такой дар, что лучше б штормом ухо отбило.

— Ну а ты, Марен, — Верль вдруг посмотрел на меня. У него была эта манера: находить в толпе того, кто думает о нём хуже всех. — Две раковины за день, я слышал? Пустые?

Недоимка твоей семьи ждёт до весны. Контора терпелива.

— Контора терпелива, — повторила я. — Как мурена. Та тоже ждёт, пока сам подплывёшь.

По толпе прошёл смешок — короткий, испуганный сам себя. Верль улыбнулся одними губами и записал что-то в книгу. Я слышала, как скрипнуло перо. Этот скрип падал глуше всего.

Домой я шла в темноте, и ветер уже менялся. Его было слышно по сушильням: вяленая рыба стучала о жерди, как костяные бубенцы. С севера, от Скъяльда, наволакивало чёрное, без единой звезды, и припай у берега постанывал.

Дома — если звать домом полторы комнаты у сушилен — меня ждала Скай. Девять лет, зюйдвестка на два размера больше головы, дырка слева в улыбке. Дочка Финна, отцовского напарника. Море забрало Финна пять лет назад, вернуло только лодку, и с тех пор Скай считалась моей. Не по бумаге. По слову. Бумага таких слов не признаёт, ну так и я бумагу не очень.

— Оле забрали? — спросила она с порога. Новости на Косе бегают быстрее детей.

— Записали. Увезут утренним паромом.

— А Гелла?

— А Гелла будет плести кружево дальше. Назло.

Скай кивнула серьёзно, по-взрослому. Потом сказала:

— Вода сегодня злая. Я слушала с мостков — она не поёт, она рычит. Ты ночью не пойдёшь?

— В такую воду только утопленники ходят. Спи.

Я соврала и не соврала. В такую воду не ходят — это правда. Но я ещё не знала, что ночью правда и я разойдёмся на рифах Старого Зуба.

Шторм ударил после полуночи, сразу в полную силу, как бьёт хвостом кит: без замаха. Дом лёг скрипеть всеми стропилами, Скай спала, обняв отцовскую зюйдвестку, а я лежала и считала. Раз-волна, два-волна. На счёте «тридцать семь» я услышала колокол.

Маячный колокол Старого Зуба бьёт двояко. Ровно — «держись дальше». Рвано, вперебой — «беда на камнях».

Он бил вперебой.

Я была у мостков раньше, чем поняла, что бегу. Ветер валил с ног, дождь шёл не сверху, а прямо в лицо, горизонтально, солёный пополам с морем. На рифах Старого Зуба, в полумиле от Косы, горело. Не огонёк — костёр: смолёный борт занялся, и пламя рвало на клочья, но было видно — корабль сидит на камнях, кормой вниз.

У мостков уже собирались наши: бабы с фонарями, старый Крус, мальчишки. Мужиков на Косе после осенних расчётов оставалось — по пальцам.

— Паром конторский не выйдет, — прокричал Крус мне в ухо. — Верль запретил! Говорит, страховой случай, вмешиваться нельзя, имущество спишут по описи!

— Там не имущество! Там люди!

— Там, — Крус ткнул рукой, и я увидела, как от горящего

борта отделилось что-то маленькое и чёрное и пропало между волн, — там уже пловцы, Марен.

Шлюпку на такой волне разбило бы о наши же мостки. Оставалась вода. Я жемчужница, я знаю воду, как Гелла — нити. Но то днём, то на вдохе, то на своей глубине. Ночью в шторм вода — не моя. Ночью на глубине — отец. Девять лет как я не ныряла в темноту. Днём — пожалуйста, хоть на десять саженей. Ночью меня не хватало даже на мостки.

Маленькое чёрное мелькнуло ближе — его несло на Гребёнку, гряде у самого берега, где волна перетирает дерево в щепу, а человека — в тишину.

— Верёвку, — услышала я собственный голос. — Верёвку на пояс, живо!

— Марен, сдурела?! Ночь!

— Вот и не увижу, как боюсь.

Смешно не было никому, мне первой. Крус вязал на мне беседочный узел, у него тряслись руки, у меня нет — я уже начала считать, а когда я считаю, я не трясусь. Раз — вдох в живот. Два — выдох до доньшка. Три — пошла.

Вода ударила, как о причал спиной. Холод был такой, что сердце споткнулось и я досчитала за него: бьёшься, бьёшься, не смей. Волна подняла меня и показала: чёрное — человек. Лицом вниз. Саженей двадцать.

Двадцать саженей в шторм — это не двадцать саженей. Это сто раз «не могу» по счёту «раз-два». Я плыла поперёк волны, как учил отец: не спорь с водой, режь наискось. Тем-

нота внизу тянула за пятки, живая, глубокая, там, внизу, было всё, чего я не смотрю девять лет, — и я считала вслух, с водой во рту, чтобы не слышать, как оно зовёт.

На двенадцатом «не могу» я взяла его за ворот.

Мужчина. Тяжёлый, как намокший парус, в дорогом сукне — оно и топило. Лицом вниз, руки нараспашку. Я перевернула его на спину приёмом жемчужниц — колено под лопатки, рывок за ворот, — и волна услужливо осветила его гребнем пены: тёмные волосы, а надо лбом — седая прядь, белая до синевы, инеистая. Лицо злое даже в беспамятстве. Красивое, злое и совсем без кровинки.

Он не дышал.

С неживыми в воде делать нечего — правило старое и честное. Тащи к берегу, там разбирайся. Но до берега было двадцать саженей обратно против волны, и Гребёнка ждала нас обоих, и верёвка резала пояс, а он не дышал, понимаете, не дышал, и в шуме шторма я вдруг услышала до жути ясно, как молчит его грудь.

И тогда я сделала то, за что тётка Унн потом обещала меня выдрать и расцеловать, — то, что делали жемчужницы с тонущими испокон, пока бумага не отучила нас от слов.

Я прижала его затылок к своему плечу, губами к его виску, чтоб хоть куда-то говорить, и сказала морской обет спасения. Старую формулу, от которой у нас на Косе остались одни сказки. Слово в слово, как в сказках:

— Беру твою жизнь на моё слово. Дышишь моим вдохом,

живёшь моим счётом. Море — свидетель.

Что вам сказать про эти слова.

Они зазвенели.

Они зазвенели так, как не звенело ничто и никогда за всю мою слышащую жизнь: колоколом в кости, от затылка до пят, сквозь шторм, сквозь холод, сквозь девять лет тишины на глубине. Волна под нами присела, как присаживается собака от окрика хозяина. На левом запястье — я видела это своими глазами, между двумя гребнями, в свете горящего корабля — сквозь кожу проступила белая вязь, тонкая, как Геллино кружево, солёная, светящаяся: узор мороза на стекле, только из соли.

А спасённый выгнулся у меня на плече, выкашлял море — половину, по ощущению, Стылого прилива — и задышал. Зло, хрипло, взхлёб. Живой.

Обратно нас вытянули на верёвке, всей Косой, семь потов и три молитвы. Помню настил под щекой, чей-то тулуп сверху, фонарь в глаза. Помню, как Скай ревела и смеялась одновременно и дырка в её улыбке была самым лучшим, что я видела в жизни. Помню, как спасённого перекатили на бок, и он дышал, дышал, дышал.

А потом он открыл глаза.

Глаза у него были цвета зимней воды — той самой, в которую я не ныряю. Серо-зелёные, тёмные по краю, и смотрели они не как у спасённого. Спасённые смотрят растерянно, благодарно, стыдно. Этот смотрел так, будто это мы всей

Косой сели на его рифы.

Он увидел меня. Потом — моё запястье с солёной вязью. Потом — своё.

На его левом запястье, сквозь мокрую манжету дорогого сукна, светилась такая же. Парная. Кружево в кружево.

Старый Крус охнул и попятился. Бабы у фонарей закрепились по-морскому, на четыре ветра. А спасённый сел — его шатало, но он сел, будто лежать при людях ему не позволяла кость, — и сказал голосом, сорванным морем до хрипа, но всё равно таким, каким отдают команды:

— Что ты наделала, жемчужница.

— Вдохнула за тебя, — сказала я. Меня уже трясло, теперь можно. — Не благодари.

— Ты повязала себя, — он поднял запястье, и соляная вязь вспыхнула белым на всю пристань, — с владыкой Островов.

Вот тогда я его узнала. По инеистой пряди. По злым глазам с гербовых грамот, что висели в конторе Верля под стеклом.

Лорд Эрланд Хавр. Морской ледяной дракон. Владыка Туманного архипелага, хозяин Хаврхольма и всех наших недоимок, человек, чьим именем писалась каждая бумага Косы, — три дня как объявленный погибшим в море.

Я вытащила из воды самого её хозяина. И повязала его старым обетом — на своё слово, до зимнего прилива.

На пристани сделалось тихо — той особой тишиной, когда

шторм ещё ревёт, а люди уже молчат. Слышно было только, как горит на рифах то, что осталось от корабля, и как стучит о жерди вяленая рыба.

— Владыка, — первым опомнился старый Крус и стянул шапку, хотя с неё лило. — А сказывали... третьего дня сказывали, что «Морхильд» со всей командой...

— «Морхильд» — вот она, — Эрланд Хавр повёл подбородком на рифы, на огонь. — Команда шла в шлюпке к Скьяльду, я остался снимать корабль с камней. Не снял.

Он попробовал встать. Встал — со второго раза, оттолкнув сразу три пары рук, и меня качнуло вместе с ним: верёвка верёвкой, а обет, оказывается, держит крепче. Я почувствовала его усилие в собственных коленях, как чувствуешь напарницу на другом конце снасти. Вот, значит, как оно работает. Сказки об этом умалчивали.

— Кто ведёт лоцию у Старого Зуба? — спросил он хрипло, ни к кому и ко всем.

— Лоцман конторский, — сказал Крус. — Сван. С весны как контора лоции откупила...

Договорить он не успел, потому что на пристань, расталкивая баб фонарём, уже спешила сама контора.

Йоаким Верль был в плаще поверх ночной сорочки — первый раз я видела его несобраннным, и то, что он в такую ночь вообще вышел из тёплого дома, говорило больше, чем вся его книга. За ним двое стражников тащили сухие одеяла, фляги, — контора умела появляться с подарками, как умеет

мурина улыбаться.

— Милорд! — Голос у Верля дрогнул ровно настолько, насколько положено дрогнуть голосу верного слуги. — Живой! Слава небу и Стылому приливу — живой!

Слова упали к моим ногам, как мокрый песок с лопаты. Все до одного. «Слава небу» — глухо. «Живой» — глухо, да ещё с той особой трещиной, с какой падает слово, когда сказавший хотел бы обратного.

Я стояла в чужом тулупе, с меня текло, меня трясло от холода — и всё-таки я расслышала это сквозь шторм и сквозь стук собственных зубов. Он не радовался. Он пересчитывал. Что-то в его гладкой голове не сошлось этой ночью, какая-то строка легла не в тот столбец, и звали эту строку — лорд Эрланд Хавр, живой.

— Йоаким, — сказал владыка Островов так, что стало холоднее, чем в воде. — Твой лоцман вёл «Морхильд» на Старый Зуб при зажжённом маяке.

— Сван будет найден и спрошен, милорд, немедля, самым строгим спросом! — Верль прижал белую руку к груди; перчатку он и ночью не снял. — Но сперва — вы. Носилки, лекаря, тепло! Контора почтёт за честь: мой дом ближайший, постель готова...

— Нет.

Одно слово — а звона в нём было на всю пристань. Даже Верль на полмгновения забыл, какое у него лицо.

— Меня примет Хаврхольм. — Эрланд повернулся ко

мне, и парная вязь на двух запястьях вспыхнула так, что кто-то из баб ахнул. — И её примет Хаврхольм. Обет спасения держит до зимнего прилива, расторгает его только суд жемчужины. Так, старая? — это он через плечо, тётке Унн, которая уже стояла тут, неизвестно когда возникнув, как она умела.

— Так, владыка, — сказала Унн. И добавила, глядя на меня, а вовсе не на него: — Слово в слово так.

— Жемчужина молчит третий год, — тихо, почти ласково напомнил Верль. Пальцы его легли на край долговой книги — он и книгу прихватил, под плащом, к ночному пожару. Привычка. — Суда не будет, милорд. Стало быть, и обет... неудобная старина. Контора могла бы оформить всё бумагой, чисто и без хлопот: спасение — премией, девице — вознаграждение...

— Ты предлагаешь мне откупиться от собственной жизни премией из моей же казны? — спросил Эрланд.

Пауза вышла длинная. Где-то на рифах с шипением осел в воду горящий рангоут.

— Я предлагаю порядок, — мягко сказал Верль.

— Порядок, — повторил владыка Островов. — Порядок нынче ночью вёл мой корабль на камни.

Он не обвинял, он просто ставил слова рядом, как ставят на стол два ножа. Но я услышала, как оба легли — звонко, страшно, — и как молчит Верль, которому нечем было ответить без риска, что кто-нибудь вроде меня расслышит цену

ответа.

— Утром пришлю лекаря в Хаврхольм, — поклонился он наконец. — И бумаги по крушению. Порядок есть порядок, милорд.

Он ушёл, аккуратно обходя лужи, и стражники с ненужными одеялами — за ним. А я осталась стоять между владыкой Островов и всей своей прежней жизнью, и жизнь эта на глазах делалась меньше — до размера сундучка, который можно собрать за четверть часа.

— Марен её зовут! — влезла Скай, воинственно шмыгнув носом из-под зюйдвестки. — Она лучшая ныряльщица Косы. И она без меня никуда не поедет.

— Скай!

— Что — Скай? Я всё сказала.

Эрланд Хавр посмотрел на неё сверху вниз — с высоты своего роста и своих грамот. Что-то у него в лице дрогнуло, но до улыбки не дожило, замёрзло на полпути.

— Лодка от Хаврхольма придёт за обетницей в полдень, — сказал он мне. — За обетницей и её... гарнизоном.

Он умел уходить как владыка даже тогда, когда его шатало на каждом шагу и половина Косы видела, что до причальной тумбы он добрался только потому, что тумба стояла на месте. Обет тянул меня следом — я всерьёз держалась за столб, пока не отпустило.

Тётка Унн взяла меня за левую руку. Повернула запястье к фонарю. Соляная вязь уже не светилась — лежала под кожей

тихо, белая, как шрам, только тёплая.

— До зимнего прилива, девочка, — сказала Унн. — Что натворила — сама хоть поняла?

— Спасла человека.

— Человека, — согласилась она. — Он тебе не сказал, почему тонул молча? Дракон в воде — что сельдь в бочке, его море держит. А этот шёл ко дну, как топор. Спроси-ка себя на досуге, много ли в нём осталось дракона.

Я тогда не поняла. Я слишком замёрзла, чтобы понимать, и слишком оглохла от самого громкого звона в своей жизни.

Море — свидетель: лучше бы я в ту ночь считала волны дальше.

Глава 2. Слово на запястье

Хаврхольм я до того дня видела только с воды — как все жемчужницы: серая громада над приливным гротом, стены растут прямо из скалы, и не поймёшь, где кончает работу море и начинается камень. С воды замок казался спящим. Вблизи выяснилось, что он не спит. Он ждёт.

Лодка пришла за нами в полдень, как было обещано, — длинная, смолёная, с шестью гребцами и молчаливым кормчим. Скай уселась на носу с видом адмирала, обняв наш единственный сундучок. Я села в середине и всю дорогу до Скъяльда слушала, как молчат гребцы. Молчали они громко. В молчании было всё: и «самозванка», и «подстроила», и «нашего владыку — на слово, как рыбу на крюк».

У водяных ворот замка нас встретил начальник стражи — седой, квадратный, с лицом, вырубленным тем же топором, что и причальные сваи. Капитан Хольгер, как я узнала позже. Он оглядел меня от мокрых сапог до косы и обратно, и взгляд у него был как у таможенника: что везём, кому сбывать будем.

— Обетница, — сказал он так, что слово получилось ругательным.

— Марен с Селёточной косы, — сказала я. — А это Скай.

— Гарнизон, — мрачно кивнул он. Видимо, доложили. —

За мной. Не отставать, руками ничего не трогать.

— Даже перила? — не удержалась я.

— Перила можно, — подумав, разрешил он. И добавил, не оборачиваясь: — Пока.

Внутри Хаврхольм оказался просторным и стильным, как трюм в апреле. Не бедным, нет — гобелены, серебро, полы из тёмного дуба, — но всё это стояло и висело так, как стоит утварь в доме, где давно не готовят. Чисто. Мёртво. По коридорам гуляли сквозняки, и я ловила себя на том, что считаю двери, как считаю вдохи. На сорок первой я бросила.

Нам отвели две комнаты в восточном крыле — с окнами на пустую гавань. В гавани, на серой воде, качались лодки. Я насчитала одиннадцать, прежде чем поняла, что в них не так.

Они были пустые. Не «без людей» — пустые по-другому: без снастей, без вёсел, без уключин даже. Голые борта, а на каждом носу — белая метка, вроде краски.

— Поминальные, — сказала за спиной служанка, что принесла бельё. Молоденькая, любопытная, из наших, островных — поговору. — Как кто уйдёт в туман, по нему лодку спускают. Пустую. Чтоб было в чём вернуться, если море передумает.

— Одиннадцать, — сказала я.

— Это только с виду, — она понизила голос до того шёпота, каким на островах рассказывают самое главное. — За молом ещё. Владыкин отец там, и брат ихний, и невеста, что при них была. Семь лет как. С той поры у нас лодок больше,

чем свадеб, вот что я вам скажу, госпожа обетница.

— Не госпожа. Марен.

— Как скажете, госпожа Марен.

Она ушла, а я осталась стоять у окна и смотреть на пустые лодки. Больше лодок, чем свадеб. Если бы мне нужно было описать голодную жемчужину двумя словами, я бы теперь знала какими.

Контора явилась в замок ещё до сумерек — Верль слов на ветер не бросал, особенно своих собственных. Я слышала его раньше, чем увидела: по галерее восточного крыла плыл мягкий голос, и слова из него падали на плиты одно другого глуше.

— ...прискорбно, прискорбно. Лекарь уже у милорда? Прекрасно. А бумаги по крушению я оставлю у капитана... О. Госпожа спасительница.

Он остановился в трёх шагах — ровно на той дистанции, с какой удобно кланяться и неудобно подавать руку. За его плечом стояли двое конторских писарей с папками и лекарь с саквояжем, и все трое смотрели на меня так, как смотрят на строку, которую предстоит вычеркнуть.

— Господин поверенный.

— Какая ночь, а? — Он покачал головой, и в голосе у него была ласковая укоризна, будто шторм устроила я. — Вся Коса только о вас и говорит. Героиня. Жемчужница входит в чёрную воду... — он прищёлкнул языком. — Знаете, что говорят в таких случаях у меня на родине? Удача любит под-

готовленных.

— А у нас говорят: море не торгуется, — сказала я. — Но вы ведь не за поговорками приехали.

— За порядком, дитя моё, исключительно за порядком. — Он улыбнулся одними губами; выше губ улыбка у него не поднималась никогда. — Кстати, о порядке. Контора чтит спасение жизни. Пятьдесят серебром — сумма прошения, я сам его составил нынче утром. Пятьдесят! При вашей недоимке в тридцать восемь. Подпись, четверть часа — и вы дома, при деньгах и при чести. Скажу больше: контора могла бы забыть про весенний срок вашей семьи. В знак... восхищения.

Вот оно как. Утром — пятьдесят и чистый долг. К чему такая щедрость к девчонке с сушилен, если обет — «фольклорная старина» и веса не имеет?

— Щедро, — сказала я. — А лоцмана вашего вы так же щедро спросили? Свана? Который вёл «Морхильд» на Старый Зуб при зажжённом маяке?

Писари перестали шуршать папками. Верль вздохнул — глубоко, скорбно, как вздыхают над чужой глупостью.

— Сван, Сван... Скверная история. Спросили, как же. Только спрашивать оказалось некого: он ещё вчера взял расчёт и отбыл на материк утренним пакетботом. Совесть, полагаю. Не вынесла.

Слова упали так глухо, что у меня заныли зубы. «Взял расчёт» — глухо. «Отбыл на материк» — глухо, мёртво, ни од-

ного живого звука. Где сейчас был лоцман Сван, я знать не могла. Но что он не «отбыл на материк» — я слышала так ясно, как слышат треск льда под ногой.

— Совесть, — повторила я. — Она у конторы по какой статье проходит?

Секунду — одну — он смотрел на меня без улыбки. И я пожалела о сказанном раньше, чем додумала мысль: нельзя показывать мурене, что видишь её в камнях. Потом улыбка вернулась на место, как крышка на бочку.

— Остроумие — прекрасное приданое, госпожа Марен. Особенно когда другого нет. — Он поклонился чуть ниже, чем следовало, и в этом «ниже» было больше насмешки, чем в ином плевке. — Моё прошение у милорда. Подумайте о пятидесяти серебром. Такие предложения контора делает один раз.

Они ушли к лестнице — писари, лекарь, мягкие шаги. А из-за поворота галереи, из ниши у окна, выплыли две дамы в тёмном бархате — придворные, из тех, что состояли при замке ещё с прежних времён и звались у Боргни «сороками». Они прошли мимо меня медленно, как проходят мимо прилавка с тухлой рыбой.

— ...в дом, где семь лет траура, — сказала первая второй, не понижая голоса. — На слово поймала, как на крючок. Ловко у них это, у береговых.

— А глазищи-то, — отозвалась вторая. — Наглые. Утопила бы кто её обратно.

Слова были сказаны для меня — а упали между нами, и что интересно: первая в своё «на крючок» верила, слово стояло твёрдо, как кол. Ей не платили за эту злость. Она злилась даром, от души. С такими сложнее всего — бумагу можно переспорить, веру нельзя.

Я досчитала до пяти и не утопила никого. Гордись мной, тётка Унн.

Скай я нашла на нижней террасе, над самой водой. Она сидела на корточках у парапета, свесив голову, и слушала — я знала эту её позу, так она слушала воду.

— Ну что?

— Странно тут, — сказала она, не поднимая головы. — Дома вода поёт. Ну, знаешь, вот так: у-у-у, ш-ш-ш, будто ей есть про что. А тут — как будто рот зажали. Прилив идёт, а песни нет. Совсем-совсем. Только под скалой, — она ткнула пальчиком вниз, туда, где под террасой, глубоко в камне, было горло грота, — что-то тоненько так... как комар. Или как когда очень долго плачешь и уже не можешь, а всё равно.

У меня по спине прошёл холод, никакого отношения к сквознякам не имевший.

— Скай. Ты у горла грота не лазай. Слышишь? Владыка запретил, и я запрещаю.

— Я и не лазаю. Я же не дура. — Она наконец подняла на меня глаза, круглые и честные. — Я только слушаю. Слушать-то он не запрещал.

Спорить с этой логикой было бесполезно: логика была моя

собственная, только на тринадцать лет моложе.

Владыка Островов позвал меня к вечеру. Не «пригласил» — за мной пришёл Хольгер и сказал: «Идём». Я пошла. Скай рвалась следом гарнизоном, но её перекупила кухарка — пирогом с сигом. Гарнизоны продаются дёшево, когда гарнизону девять.

Кабинет Эрланда Хавра сидел высоко, под самой смотровой площадкой, и окна там были во все четыре стены — фарватеры видно от Старого Зуба до Чёрной Банки. Сам он стоял у дальнего окна, спиной, и по тому, как ровно он стоял, я поняла: слышал нас с лестницы и успел встать так, чтобы получилось — спиной.

На столе горела лампа и лежала книга. Толстая, в коже, с латунными уголками. Я узнала её раньше, чем прочла тиснение. Долговая книга конторы «Верль и Ко». Список всего, что Коса и остальные берега должны бумаге.

— Садись, — сказал он, не оборачиваясь.

— Спасибо, постою. Я с четырнадцати лет стою, когда мне говорят «садись» таким голосом.

Вот тут он обернулся. При дневном свете — вернее, при том сером, что у нас зовут дневным светом, — было видно, чего ему стоила та ночь. Скулы обтянуло, под глазами лежала синева, инеистая прядь надо лбом казалась шире. А глаза были те же. Зимняя вода. Смотрит и меряет: утонешь ты в ней или выплывешь.

— Марен с Селёдной косы, — сказал он. — Двадцать

три года. Жемчужница во втором поколении. Отец — Эйрик, забран в отработку девять лет назад, судьба неизвестна. Мать умерла шесть зим назад. На попечении — девочка Скай, дочь Финна-рыбака, без бумаг. Семейная недоимка — тридцать восемь серебром, продлена до весны. Всё верно?

— Почти. Жемчужница в третьем поколении. Бабка ныряла ещё при вашем деде.

— Поправка принята. — Он подошёл к столу и положил ладонь на долговую книгу. — Теперь объясни мне одну вещь, жемчужница в третьем поколении. Ночь. Шторм, какого не было три года. Все сидят по домам. Твоя лодка — единственная на всей Косе — вытащена к мосткам засветло, будто ты ждала. Тыходишь в чёрную воду, в которую, как мне утром доложили, неходишь даже днём, — и достаёшь из неё не рыбака, не мальчишку с парома. Владыку Островов. Которого три дня как отпели. Совпадение?

Я досчитала до трёх. С ним это помогало плохо.

— Лодку я вытащила, потому что ветер менялся, — сказала я. — Это на Косе умеет каждый, у кого есть уши. В воду вошла, потому что маяк бил «беда на камнях». А достала того, кто тонул. Кто он — я в воде не спрашивала. В воде вообще неразговорчиво, милорд, вы должны были заметить.

— Заметил, — сказал он. — Я тонул молча, если ты об этом.

— Об этом поговорим отдельно.

Что-то мелькнуло у него в лице — то же, что на пристани

при Скай: движение к улыбке, замёрзшее на полпути. Он сел за стол. Раскрыл книгу. Перевернул страницу так, будто она была виновата.

— Верль подал прошение, — сказал он. — Контора предлагает признать морской обет «фольклорным обязательством, не имеющим правовой силы», а тебе выплатить вознаграждение за спасение. Пятьдесят серебром. Твоя недоимка — тридцать восемь. Останется на новые сети. Подпишешь — к вечеру будешь дома.

Пятьдесят серебром. Я слышала, как он это сказал. Слова были ровные, гладкие, конторские — и не его. Он их пересказывал, как пересказывают чужую цену, глядя, дрогнет ли у тебя рука.

И рука бы у меня, может, и дрогнула — тридцать восемь серебром были всей моей зимой, — если бы не одно. Если бы утром, одеваясь, я не попробовала снять с запястья соляную вязь. Так, из любопытства. Вязь не тёрлась, не смывалась и на попытку поскрести отозвалась таким рывком под рёбрами, будто я на глубине выдохнула весь запас разом.

— А обет? — спросила я. — Его тоже Верль отменит? Пятьдесят первым серебром?

— Обет, — повторил Эрланд Хавр. Он поднял на меня глаза, и в них впервые было не подозрение. В них была усталость такой глубины, на какую я не ныряла. — Обет расторгает суд жемчужины. Жемчужина молчит третий год. Значит, по букве — до зимнего прилива ты привязана к этому

замку и ко мне, а я к тебе. Если ты искала способ въехать в Хаврхольм, ты нашла лучший из возможных. Если не искала — мне жаль. И в том и в другом случае бумагу Верля я уже отклонил.

— Не спросив меня?

— Ты бы согласилась?

— Нет.

— Вот поэтому и не спросил. Не было нужды.

Мы посмотрели друг на друга. Где-то внизу, под полами, под скалой, глухо ухал прилив — я чувствовала его пятками, как чувствуешь чужое сердце через доску борта.

— Почему? — спросила я. — Пятьдесят серебром — и я исчезаю. Двор перестаёт шептаться. Верль доволен. Почему нет?

Он молчал долго. Потом сказал — медленно, выбирая слова, как выбирают опору на льду:

— Потому что за последние семь лет это первая бумага, которую Верль принёс мне НАСТОЛЬКО быстро. Он спешит стереть твой обет, жемчужница. А я привык смотреть туда, куда контора просит не смотреть.

Он закрыл книгу. Латунные уголки звякнули — и вот этот звук был честнее всего, что прозвучало в кабинете до сих пор.

— Условия такие, — сказал он. — Ты живёшь в Хаврхольме до зимнего прилива. Ты моя гостья-обетница; что это значит — двор разберётся сам, у двора богатая фантазия. К

гроту не спускаться. В мои дела не мешаться. Девочка... гарнизон пусть держится при кухне, кухарке веселее. Вопросы?

— Два. Первый: что значит «к гроту не спускаться»?

— То и значит. Отлив открывает горло грота дважды в сутки. Там жемчужина. Слепая — но это всё ещё сердце Островов, и я не пускаю к нему никого. Второй вопрос.

Я подняла левую руку и повернула запястье вязью к лампе.

— Что она делает, когда тепло? — спросила я. — Вот сейчас, например.

Спросила — и увидела то, ради чего стоило спрашивать. Он не посмотрел на моё запястье. Он посмотрел на своё. Быстро, коротко, невольно — как смотрят на ожог.

— Ничего, — сказал владыка Островов голосом, каким запирают двери. — Иди. Ужин пришлют наверх.

Я шла назад по коридорам и считала: не двери — то, чего в этом замке не было. Не было детей. Не было свадебного шума, вязания у окон, ругани из кухни. Не было ни одной пары — я поймала себя, что за целый день не видела, чтобы кто-нибудь кого-нибудь коснулся. Замок, полный людей, — и каждый по одному, как пустые лодки на рейде.

Скай нашлась на кухне, объевшаяся и сонная, и кухарка — широкая, как печь, по имени Боргни — выдала мне её с рук на руки вместе с недоеденным пирогом и первой за день человеческой фразой:

— Девка у тебя золото. Ты вот что. На двор не гляди, что

фыркают. У нас тут семь лет как фыркать — единственное развлечение. Отвыкли по-другому.

— А что было семь лет назад, Боргни?

Кухарка глянула на меня, на пирог, опять на меня. И сказала совсем тихо:

— Свадьба была. Не доехала до грота. Вот с той поры и живём: море отдельно, замок отдельно, владыка... — она махнула полотенцем куда-то вверх, — совсем отдельно. Спи иди, обетница. Утро вечера мудренее.

За ужином — его и вправду прислали наверх, на подносе, с серебром тяжелее всей нашей домашней утвари, — Скай уснула, не дожидаясь, а я сидела у свечи и разбиралась с тем, что насобираала за день. Улов выходил такой: владыка, который семь лет живёт отдельно от собственного моря. Контора, которой обет мешает настолько, что она готова платить пятьдесят серебром за четверть часа с пером. Лоцман, что «отбыл на материк» в слова, мёртвые, как осенняя медуза. Замок без единой пары. Вода, которой зажали рот. И вязь на моём запястье, что теплеет, когда хозяин зимних глаз стоит близко, — а он, между прочим, смотрел на своё запястье как на ожог.

Раковины я вскрываю с шести лет и знаю: если створки сопротивляются — внутри либо пусто, либо жемчуг. Этот замок сопротивлялся всем, чем умел.

Отца бы сюда, подумала я, задувая свечу. Отец умел два дела лучше всех на Косе: находить жемчужные банки там,

где все видели голый камень, и молчать так, что собеседник сам выкладывал главное. Из меня вышла только половина его — та, что ныряет. Вторая половина вечно спрашивала лишнее. Ну что ж. Будем работать тем, что есть: ушами, счётом и дурной привычкой лезть в чёрную воду за чужими жизнями.

Ночью я не спала. Лежала, слушала прилив под скалой и считала его удары, а на сотом встала и подошла к окну — просто так, проверить, спит ли гавань.

Гавань спала. Пустые лодки стояли на чёрной воде, как ноты на линейке. А ниже, правее, там, где скала уходила в море и где, по всему, было то самое «горло» грота, — двигался свет.

Фонарь. Кто-то спускался по вырубленной в камне лестнице — в отлив, к жемчужине, в час, когда весь замок спал и никто не мог этого видеть. Никто, кроме бессонной жемчужницы с чужим обетом на запястье.

Я прижалась лбом к холодному стеклу. Свет качнулся, замер — человек перехватил фонарь, и на одно короткое мгновение я увидела его руку на фоне огня.

Белую. Ухоженную. В тонкой, облегающей, как вторая кожа, перчатке.

Холёные руки, сказали бы у нас на Косе. Руки, которые ни разу не тянули сеть.

В замке, куда меня привезли сегодня в полдень, ночным отливом к слепой жемчужине спускался Йоаким Верль. И

что-то мне подсказывало: лекаря и бумага тут были ни при чём.

Глава 3. Хозяйка не по бумаге

Есть два способа выжить в чужом доме: стать невидимой или стать нужной. Невидимой я не умела с рождения — рост не тот и язык не той длины. Оставалось второе.

Началось всё, честно сказать, не с великого замысла, а с трески.

На третье утро я спустилась на кухню раньше Боргни — сон в Хаврхольме у меня так и не завёлся, — и застала там мальчишку-поварёнка над бочкой солёной трески. Он вымачивал её так, что у меня, дочери сушилен, заболели все зубы разом: залил тёплой водой и ушёл дремать.

— Стой, — сказала я. — Кто ж треску тёплой отпускает. Она ж тебе к обеду мочалом ляжет. Холодной надо, и менять четыре раза, и первый раз — с молоком.

— С мо-локом? — поварёнок смотрел на меня, как на морскую деву: и чудно, и боязно, и прогнать нельзя — вдруг клад укажет.

— С молоком. Кто на Косе вырос, тот знает.

К приходу Боргни мы с ним перемыли бочку, переставили вымочку в холодный чулан и поспорили о луке. Боргни встала в дверях, упёрла руки в бока и целую минуту смотрела, как я режу лук по-нашему, лодочками.

— Так, — сказала она наконец. — Обетница. А похлёбку

берегового ряда — варить умеешь? Настоящую, с дымком?
— Обижаешь.

— Тогда с меня котёл, с тебя дымок. Двор нынче постный, владыке лекарь велел горячее, а мои все варят так, будто море им должно.

Скай на кухне освоилась раньше меня: она уже знала по именам всех, включая кота — серого, важного, по кличке Клык, который признавал только Боргни, а с третьего дня почему-то и Ская. «Он слушает, как я пою, — объяснила она мне шёпотом. — Коты понимают в песнях. Не то что некоторые». Некоторые — это была я, потому что петь при мне в полный голос она стеснялась.

Похлёбка удалась — котёл выскребли до дна, и даже сороки в тёмном бархате, как донесла Скай, спрашивали у столтника, «что это было». Так я получила кухню. Кухня в любом доме — это порт: через неё идёт всё, и если тебя признал порт, дом — вопрос времени.

За кухней потянулось остальное, само, как сеть за грузилом. Прачки мучились с котлами — я показала, как у нас на Косе выпаривают соль из белья, чтобы не цвело. Постельничий жаловался на сырость в западном крыле — я прошлась по стенам ладонью, послушала сквозняк и нашла ему две забитые продухи, о которых он забыл лет десять как. Ничего волшебного: просто в доме, где семь лет никто ничего не хочет, любой, кто хочет хоть чего-нибудь, через неделю оказывается главным.

Тейта я приручила на четвёртый день. Вернее, это он меня приручил — как приручают дети: пришёл и встал рядом.

Племянник владыки был тонкий, тихий мальчик одиннадцати лет с непослушным вихром и взглядом человека, который слишком рано выучил слово «наследник» и слишком поздно — слово «играть». Он появился на смотровой террасе, где мы со Скай считали входящие паруса, и минут десять стоял поодаль, делая вид, что ему в другую сторону.

— Четырнадцать, — сказал он наконец, не выдержав. — Вчера было четырнадцать парусов до полудня. Я записываю.

— А сегодня будет меньше, — сказала я. — Ветер отошёл к северу, каботаж прижмётся к Косе.

Он подумал. Достал из-за пазухи тетрадку, замусоленную, как молитвенник.

— Проверим, — сказал он с достоинством. И сел рядом. К обеду парусов вышло одиннадцать, я угадала, и с того часа Тейт ходил за мной хвостом, а тетрадка распухла от новых колонок: ветер, вода, «что сказала Марен». Скай он сперва дичился — потом она показала ему, как свистеть в две пальца, и вопрос закрылся. Гарнизон мой удвоился. А вечером того же дня к гарнизону приписался четвёртый: пёс Клык, здоровенный лохматый зверь водовозов, которого весь замок обходил по дуге, пришёл на кухню, положил голову мне на колено и вздохнул так, что качнуло чашки. «Он у нас никого не признаёт», — растерянно сказала судомойка. «Признаёт, — сказала я. — Просто до сих пор ему никто

не пах морем и правдой разом». С тех пор Клык спал у моего порога, и бархатные дамы, шептавшиеся по углам, стали шептаться заметно тише: против сорока кило собачьей уверенности молва бессильна.

С владыкой Островов мы в те дни почти не встречались. «Почти» — неточное слово: мы не встречались нигде, кроме как везде. Он выходил из библиотеки, когда я несла Тейту атлас, — и мы полминуты стояли в дверях, выясняя, кто кого пропустит. Он спускался к водяным воротам, когда я учила Ская вязать беседочный узел, — и останавливался поодаль, и смотрел, и уходил, не сказав ни слова. Хольгер, приставленный, как я понимала, следить за мной, следил честно — но всё чаще я ловила его не на подозрении, а на удивлении.

А потом был случай с сорокой.

Случилась она в большой галерее, при людях: я несла с кухни отвар для Тейта — мальчик приуныл горлом, — и старшая из бархатных дам, та самая, что желала меня утопить, отступила от окна прямо на меня. Отвар плеснул. На бархат попало.

Дальше должно было быть по писаному: береговая девка, испорченное платье, крик, жалоба, кара. Она и открыла рот по этой писаной строке:

— Смотреть надо, куда несёшь, при... служница.

— Прошу прощения, — сказала я, потому что была виновата ровно наполовину и свою половину признавала.

— Прощения? — Она оглядела меня с высоты трёх поко-

лений бархата. — В приличных домах за такое...

— В приличных домах, — сказал от дверей голос, от которого галерея разом сделалась выше и холоднее, — не отступают от окна, не глядя, леди Ортруд. Особенно когда за спиной несут горячее.

Эрланд Хавр стоял в дверях — никто не слышал, как он вошёл; он всегда входил, как входит отлив, без объявления. Он не смотрел на меня. Он смотрел на леди Ортруд, вежливо и очень спокойно, и под этим спокойствием бархатная дама сложилась, как складывается парус без ветра.

— Милорд. Я лишь...

— Отвар — моему племяннику? — это уже мне, мимо неё, будто её договорённая фраза не стоила окончания.

— Ему. Горло.

— Тогда не задерживаю. — И, уже когда я была в дверях, вслед, тем же ровным голосом: — На бархате хорошо выводит холодная соль. Госпожа Марен подтвердит: она в этом доме, кажется, единственная, кто разбирается и в соли, и в бархате.

Я вышла с прямой спиной, а за поворотом позволила себе улыбку шириной с фарватер. Соляная вязь на запястье была тёплой, как нагретая солнцем банка, — и я уже знала за ней эту повадку: теплеть, когда он рядом. Знала и другое, о чём пока не говорила даже себе вслух: в тот момент, когда он появился в дверях, я услышала его первые слова прежде, чем он их сказал. Не мыслью — весом. Так слышишь волну

спиной за миг до того, как она тебя поднимет.

После случая с сорокой он впервые заговорил со мной сам. Нашёл на смотровой террасе, где я в одиночку пересчитывала на ночь огни Косы — привычка, от которой теплее, чем от жаровни.

— Тринадцать, — сказал он, вставая у парапета в трёх шагах. Дистанцию он держал, как Верль, только смысл у неё был другой: Верль берёт себя от людей, этот — людей от себя.

— Пятнадцать, — сказала я. — Два фонаря за молотом, их с вашей высоты не видно. Надо жить пониже, милорд.

— Запомню. — Он помолчал. Море под нами ворочалось в темноте, большое и недовольное. — Ортруд просила передать извинения. Я передаю. Дословно передавать не буду, в её исполнении это заняло час и вышло хуже оскорбления.

— Засчитано. А вы всегда так — за всех говорите?

— Только за тех, за кого иначе никто не скажет. — Он посмотрел на меня искоса. — Ты за девять дней перестроила мне кухню, прачечную, продухи западного крыла и распорядок моего наследника. Хольгер докладывает о тебе таким тоном, каким докладывают о приливе: остановить нельзя, можно учитывать. Я обещал двору, что ты будешь гостьей. Двор спрашивает, почему гостя хозяйничает.

— А вы что отвечаете?

— Что в доме, где семь лет никто не хозяйничал, — сказал он ровно, — вопрос задан не по адресу.

Он взялся за парапет — камень под его ладонями забле-

стел, — и тут порыв с моря швырнул в нас брызгами, я поскользнулась на мокрой плите, и он поймал меня за локоть. Просто поймал. Просто локоть. Обычное дело.

Только вот через шерсть и через кожу мне в руку плеснуло теплом, как из открытой печной дверцы, а на его пальцах — я видела это близко, в свете фонаря над дверью, — проступила изморозь. Не та, от которой стынут: перламутровая, тонкая, она прошла по костяшкам радужной плёнкой и погасла, едва он отнял руку.

Мы оба сделали вид, что ничего не было. У него получилось лучше — практика.

— Поздно, — сказал он. — Иди в дом, жемчужница. Море сегодня не для счёта.

Уже в дверях я оглянулась: он стоял у парапета, спиной, и правой рукой держал себя за левое запястье — там, где под манжетой лежала соляная вязь. Так держат не украшение. Так держат рану, которая вдруг перестала болеть, и это оказалось страшнее боли.

Вечером того же дня приехала Гелла.

Она привезла мне тёплые чулки, две банки брусники и все новости Косы разом: Оле написал с материка одно письмо — короткое и такое пустое, что она плакала не над словами, а над почерком; Верль поднял весенний процент «за неспокойный год»; тётка Унн велела передать, чтобы я «слушала не то, что громко, а то, что тихо». Обычная её манера: скажет — как жемчужину в ладонь положит, а что с ней делать,

разбирайся сама.

А ещё Гелла привезла кружево. То самое, свадебное, недоплетённое. Развернула на моей кровати — белое, морозное, тоньше пены на отмели.

— Плету дальше, — сказала она с вызовом, будто я спорила. — Назло. Ты говорила — назло, я и плету. Только знаешь что, Марен... — она разгладила узор ладонью, и голос у неё сел. — Я вчера поняла, кому я его плету. Не себе. Я себе уже не очень верю, что доношу. Я его плету, чтобы на этих островах хоть одна свадьба до грота доехала. Чья — уже не так важно.

Я обняла её и не сказала того, что услышала: её «не очень верю» упало между нами совсем глухо, до дна. Бумага съела мою подругу — не за один раз, как съела моего отца, а по стежку. И где-то под скалой, в чёрной чаше отлива, точно так же, по стежку, умирала от голода жемчужина, которой некому было пожаловаться.

Кроме, может быть, одной ныряльщицы, которой велено к гроту не спускаться.

Ночью — я уже привычно не спала — в дверь поскреблись. Тейт. В ночной рубаше, с тетрадкой, глаза перепуганные и злые разом.

— Она опять там, — прошептал он. — Я видел с башни. Лодка от Чёрной Банки, без огней. Уже третий раз при мне. Марен, я записываю, честно записываю, но я не знаю, кому показать. Дяде нельзя.

— Почему нельзя?

Он посмотрел на меня, как смотрят взрослые, которых угораздило родиться одиннадцать лет назад.

— Потому что когда при нём говорят «Верль», у него пальцы делаются прозрачные, — сказал он тихо. — Совсем. Я видел. Он думает, никто не видит, а я вижу. Если он узнает про лодку, он пойдёт туда сам. Ночью. Один. А ночью, один, он... — Тейт сглотнул и договорил учебным, зазубренным голосом, каким дети говорят самое страшное: — Люди дома Хавр уходят в туман поодиночке. Так в хронике написано. Я читал.

Мы стояли в тёмном коридоре, два заговорщика — одиннадцать лет и двадцать три, — и между нами лежало всё, что я успела насчитать за эти дни: прозрачные пальцы, пустые лодки, задушенная вода, ночные фонари, глухие цифры в толстой книге.

— Покажи мне записи, — сказала я. — Все. С ветром и водой.

И вот тогда, листая при свече кривые столбики его тетрадки — даты, приливы, «лодка без огней», «опять», «две заразы», — я впервые сложила это вслух, для нас обоих:

— Тейт. Они ходят от Чёрной Банки к гроту по большим отливам. По тем самым, когда горло открыто дольше всего. Кто-то очень занятой навещает слепую жемчужину чаще, чем родную мать. Вопрос один: что можно делать у артефакта, который три года молчит?

— Молиться? — предположил Тейт без большой веры.

— Или проверять, — сказала я, — хорошо ли он молчит.

Свеча качнулась от сквозняка. Внизу, под скалой, прилив ударил в горло грота — глухо, как кулаком в зажатый рот.

Тейт ушёл под утро, унося тетрадку за пазухой, как несённое из огня. А я долго стояла у окна и думала про отца — в этом замке я вообще думала про него чаще, чем за все девять лет. Отец говорил: жемчужную банку ищут не глазами, а нутром — где вода «не такая», там и смотри. Вся эта история была «не такая» от первой строки. Крушение при зажжённом маяке. Лоцман, отбивший в глухие слова. Прощение на пятьдесят серебром, поданное быстрее, чем сохнут чернила. Лодки без огней по большим отливам. Если бы мне дали нырнуть в эту воду с ножом и фонарём, я бы знала, где вскрывать. Но нырять предстояло по-сухому, при дворе, где каждая раковина щёлкает створками громче прибора.

Утром выяснилось, что ночь я просидела над тетрадкой не зря — но пригодится это всё не скоро. Потому что утром контора пошла с козыря.

Совет собирался в старом зале с корабельными балками под потолком — их, по слову Боргни, ставили из килей отслуживших драккаров, и я, входя, машинально коснулась ближней: дерево было тёплое, как всё, что долго жило в море. Хоть кто-то в этом зале был на нашей стороне.

Верль явился к малому совету — так в Хаврхольме звался час, когда владыка принимал управляющих, — при полном

параде: серый камзол, перчатки, за спиной писарь с шкатулкой. Меня на совет никто не звал; я оказалась там при Тейте, которого Эрланд с недавних пор сажал слушать «дела дома», а Тейт вцепился в мой рукав — и Хольгер, покосившись, пропустил обоих.

— ...и последнее, милорд, — голос Верля был мягче обычного, а это у него всегда было к шторму. — Контора обязана напомнить о сроке попечительского уложения.

Он кивнул писарю. Шкатулка открылась. Бумага, которую он выложил на стол, была не бумага даже — грамота, с шёлковым шнуром и коронной печатью на свинце.

— Двенадцатый год откупа, милорд. По уложению, подписанному ещё вашим батюшкой, да будет вода ему периной, контора вправе требовать удостоверения дома. Если владичество Островов к исходу двенадцатого года не предъявит суду... — он повёл пальцем по строке, любовно, как глядят кошку, — «замкнутого обета владыки, сиречь истинной пары, подтверждённой жемчужиной, либо наследника в совершенных летах», — острова со всеми промыслами, лощиями и недоимками переходят под полное попечение конторы. До появления такового удостоверения. Исход двенадцатого года, милорд, — нынешний зимний прилив.

В зале стало тихо, как в гроте. Управляющие смотрели в стол. Хольгер смотрел на Верля, и рука у него лежала там, где у военных людей лежит рука, когда им очень хочется забыть, что они в зале совета.

— Жемчужина молчит, — сказал Эрланд. Ровно. Слишком ровно: я услышала, каких денег ему стоила эта ровность. — Тебе это известно лучше всех, Йоаким. Подтверждения не может предъявить никто на островах. Твоё уложение требует невозможного.

— Закон не спрашивает, возможно ли, милорд. Закон спрашивает, исполнено ли. — Верль сокрушённо развёл руками, и я смотрела, как слова падают из него одно за другим: гладкие, круглые, мёртвые, как галька. — Но контора — не враг дому Хавр. Контора предлагает выход. Совершеннолетие наследника — через пять лет, тут не поможешь. Остается пара. Суд жемчужины нем — однако имперская палата признаёт и письменное освидетельствование брака, заключённого «по взаимному согласию домов». Контора взяла на себя смелость... — писарь уже подавал вторую бумагу, — ... и подыскала невесту, чьё имя не оскорбит ни двор, ни палату. Леди Сигрун из дома Скельд прибудет на Скъяльд к концу недели. Приданое согласовано. Освидетельствование берёт на себя контора.

Вот теперь я поняла всю красоту постройки — так, наверное, рыба в вершу понимает прутья: по одному пруту она гнётся, а вместе они — стенка. Жемчужина слепа — стало быть, истинную пару предъявить нельзя. Наследник мал. Остаётся брак по бумаге, который оформит и засвидетельствует сам Верль, — и тогда рядом с владыкой встанет конторская невеста, и каждая строка дома Хавр будет писаться

под конторскую диктовку. А не хочешь невесту — потеряешь острова целиком, по грамоте с коронной печатью. Мат в два хода, и оба хода — его.

— А если, — сказал Эрланд очень тихо, — к зимнему приливу жемчужина заговорит?

Верль улыбнулся. Одними губами, как всегда, — но на одно короткое мгновение, на полвдоха, я услышала под его словами не мёртвую гальку, а живое. Единственное живое, что в нём было. Страх.

— Тогда, милорд, — сказал он ласково, — контора первой преклонит колени перед судом прилива. Но мы с вами взрослые люди. Мёртвое не говорит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.